

ФРЕДЕРИК БЕГБЕДЕР

**ФРАНЦУЗСКИЙ
РОМАН**

Перевод с французского

Елены Головиной

ИЗДАТЕЛЬСТВО **И** ИНОСТРАНКА

Москва

Бегбедер Ф.

Французский роман: Роман / Пер. с фр. Е. Головиной. — М.: Иностранка, 2010. (The Best of Иностранка).

ISBN 978-5-389-07225-1

18+

“Французский роман” — книга автобиографическая. В основе ее реальная история из жизни автора: за употребление кокаина в общественном месте Фредерик Бегбедер, к тому времени уже знаменитый писатель, был задержан полицейскими и препровожден в тюрьму. Оказавшись в грязной тесной камере, он приходит в отчаяние. И внезапно, выплыв из глубин памяти, перед ним возникают воспоминания детства и юности, мрачные стены словно раздвигаются и на время исчезают, а на их месте одна за другой появляются картины прошлого, эпизоды из истории его семьи.

“Французский роман” вызвал бурную дискуссию в прессе. Несомненные литературные достоинства этого произведения были отмечены престижной премией Ренодо за 2009 год.

© Fre2de2ric Beigbeder, 2009

© Aquarelle de N. Ratel. Portrait de l'auteur en 1974

© Е. Головина, перевод на русский язык, 2010

© Д. Захаров, оформление, 2010

© ООО "Издательская Группа Аттикус", 2010Издательство Иностранка®

*Ах, детство резвое — подобие весны,
Ах, лета пышный цвет...
Добычею зимы вы стать обречены.
Вы были или нет?*

Пьер де Ронсар.
Ода Антуану де Шатенье. 1550

*Моей семье
и Присцилле де Лафоркад,
готовой в нее войти*

Пролог

Я старше, чем мой прадед. Капитану Тибо де Шатенье было 37 лет, когда 25 сентября 1915 года, в девять пятнадцать утра, во время второго сражения в Шампани, он погиб где-то между долиной речки Сюипп и опушкой Аргоннского леса. Чтобы узнать подробности, мне пришлось терзать вопросами мать. Наш семейный герой — неизвестный солдат; он похоронен в замке Бори-Пети, в Дордони (где живет мой дядя), но фотографию, на которой застыл высокий, стройный молодой человек в синей военной форме с ежиком светлых волос, я увидел в замке Вогубер (где живет другой мой дядя). В последнем письме моей прабабке Тибо сообщает, что у него нет кусачек, а то бы он перерезал колючую проволоку и пробрался к вражеским позициям. Он описывает плоский белесый пейзаж и беспрестанные дожди, превращающие землю в грязевое месиво, и добавляет, что получил приказ наутро выступить в атаку. Он знает, что погибнет; его письмо поражает как *“snuff movie”* — фильм ужасов, в котором убивают настоящего. На рассвете он отправился исполнять свой долг, распевая “Песню жирондистов”: “Смерть за отчизну! Разве есть удел прекрасней и достойней?!” 161-й пехотный полк наткнулся на стену огня; как и предполагалось, прадеда и его людей изрешетили немецкие пулеметы; выживших дотравили хлором. В общем, можно сказать, что Тибо прикончили высокие

начальники. Он был рослый, красивый, молодой, и Франция приказала ему умереть за нее. Точнее говоря, Франция отдала ему приказ покончить с собой — и в этом есть странная перекличка с современностью. Подобно японскому камикадзе или палестинскому террористу, этот отец четверых детей вполне сознательно принес себя в жертву. Потомок крестоносцев, он был обречен повторить подвиг Иисуса Христа — отдать свою жизнь ради других.

Я веду происхождение от доблестного рыцаря, распятого на колючей проволоке в Шампани.

1

Подрезанные крылья

Я только-только узнал, что мой брат представлен к ордену Почетного легиона, и тут меня упекли в кутузку. Поначалу полицейские не стали заламывать мне руки и сковывать их наручниками; они сделали это позже, когда перевозили меня в больницу “Отель-Дьё”, а потом вечером следующего дня, по дороге в камеру предварительного заключения на острове Сите. Президент Республики написал моему старшему брату трогательное поздравительное письмо с выражениями благодарности за вклад в развитие французской экономики: “Вы являете собой пример того капитализма, к которому мы стремимся, — предпринимательского, а не спекулятивного”. 28 января 2008 года в комиссариате Восьмого округа служащие в синей форме, вооруженные револьверами и дубинками, раздели меня догола и обыскали; отобрали у меня телефон, часы, кредитку, деньги, ключи, паспорт, водительские права, ремень и шарф; взяли образец слюны и отпечатки пальцев; приподняв мне яйца, удостоверились, что я ничего не прячу в анусе; сфотографировали меня анфас, в профиль и в

три четверти; внесли в дело антропометрические данные, после чего запихнули в клетушку размером два на два метра с исписанными, захарканными и запятнанными кровью стенами. Тогда я еще не знал, что через несколько дней окажусь в куда более просторном помещении — парадном зале Елисейского дворца, где моему брату будут вручать орден Почетного легиона, а я буду стоять и смотреть, как за огромными окнами мотаются на ветру ветви дубов, словно бы выманивая меня в президентский сад. Около четырех часов утра, лежа в темноте на бетонной скамье, я пришел к простому выводу: Бог верит в моего брата, а меня Он покинул. Как у двух существ, столь близких в детстве, могли оказаться столь несхожие судьбы? Меня вместе с другом задержали на улице за употребление наркотиков. В соседней камере карманник колотил по стеклу кулаком — не слишком убедительно, зато достаточно усердно для того, чтобы лишить сна остальных заключенных. Впрочем, заснуть здесь все равно было практически нереально — даже когда смолкали вопли узников, надзиратели в коридоре продолжали перекликаться во весь голос, как будто под охраной у них были одни глухие. В камере воняло потом, блевотиной и разогретой в микроволновке говядиной с морковью. Без часов время течет медленно, особенно, если никто не догадался выключить мигающую под потолком лампу дневного света. В ногах моего ложа прямо на грязном бетонном полу валялся какой-то псих в этиловой коме, он стонал,

храпел и пердел. Было холодно, но я задышался. Старался ни о чем не думать, но это плохо получалось: если человека запереть в тесной конуре, в голову ему волей-неволей лезут самые жуткие мысли; он, конечно, постарается не паниковать, да что толку. Кто-то впадает в истерику и молит открыть дверь, кто-то пытается наложить на себя руки и признается в преступлениях, которых не совершал. Все на свете я отдал бы тогда за книжку или таблетку снотворного. Но, не имея ни того ни другого, принялся в уме, без ручки, с закрытыми глазами писать вот этот текст. Желая, чтобы эта книга позволила вам, как и мне той ночью, откуда-нибудь сбежать.

Утраченная благодать

Детства своего я не помню. Когда я в этом признаюсь, мне никто не верит. Все помнят свое прошлое: зачем жить, если жизнь забыта? Во мне не осталось ничего от меня прежнего: с нуля до пятнадцати лет в памяти зияет сплошная черная дыра (в астрофизике этот термин означает: “Массивный объект, обладающий гравитационным полем такой силы, что ни вещество, ни излучение не могут его покинуть”). Я долго считал себя нормальным человеком, уверенный, что и все остальные страдают подобной амнезией. Впрочем, задавая вопрос: “Ты помнишь свое детство?” — я выслушивал в ответ кучу всяких баек. Мне стыдно, что моя биография написана симпатическими чернилами. Почему детство не впечатано в меня несмываемой краской? Я чувствую себя изгоем; у мира есть археология, а у меня нет. Я сам, как преступник в бегах, стер за собой все следы. Стоит мне заговорить об этом изъяне, родители воздевают очи горе, прочие родственники возмущаются, друзья детства обижаются, а бывшие невесты борются с искушением представить вещественные

доказательства в виде фотографий.

“Ты вовсе не потерял память, Фредерик. Просто мы тебе безразличны!”

Потерявшие память наносят окружающим оскорбление; близкие принимают их за нигилистов. Как будто можно забывать нарочно! У меня не просто провалы в памяти; роясь в своей жизни, я ничего не нахожу — чемодан пуст. Иногда я слышу, как мне в спину шепчут: “Не могу понять, что он за тип”. Действительно. Попробуйте-ка сказать что-нибудь определенное о человеке, который и сам не знает, откуда он взялся. Как говорит Жид в “Фальшивомонетчиках”, я — “конструкция на сваях: ни фундамента, ни подпола”. Земля плывет под ногами, я парю на воздушной подушке, меня, как бутылку, несет по волнам; я — мобиль Колдера¹. Чтобы нравиться людям, я отказался от позвоночника и, подобно человеку-хамелеону Зелигу, предпочел слиться с ландшафтом. Хочешь добиться любви — забудь свою личность, лишись памяти; стань тем, кто нравится другим. В психиатрии подобное расстройство именуется “дефицитом самосознания”. Я — форма без содержания, жизнь без основы. Мне говорили, что в своей детской спальне, на улице Месье-Ле-Пренс, я прикрепил к стене афишу фильма “Мое имя — никто”. Очевидно, я отождествлял себя с главным героем.

Все персонажи моих книг — люди без прошлого; они принадлежат сиюминутности, выхвачены из лишенного корней настоящего — призрачные обитатели мира, где чувства эфемерны, как бабочки, а забвение служит обезболивающим. Можно хранить в памяти — и я сам тому доказательство — только разрозненные обрывки детских воспоминаний, к тому же большей частью ложных или сфабрикованных впоследствии. Общество потворствует подобной амнезии: даже из нашего языка исчезает грамматическая категория будущего предшествующего времени. Моя дефективность скоро перестанет кого-либо удивлять и станет общим местом. Признаем, впрочем, что симптомы болезни Альцгеймера у человека средних лет пока все же редкость.

Частенько я “вспоминаю” свое детство просто из вежливости. “А помнишь, Фредерик?..” Я охотно киваю: “Ну да, конечно. Я собирал стикеры Панини и фанател от группы “Rubettes”, точно-точно”. Горько признавать, но факт остается фактом: мне никогда ничего не вспоминается, я обманываю сам себя. Понятия не имею, где я был с 1965 по 1980 год; может, по этой причине я сегодня и сбился с дороги. Я все надеюсь, что есть какой-то секрет, какой-то тайный фокус, какое-то волшебное заклинание, — стоит его найти, и я выберусь из душевного

лабиринта. Если мое детство не было кошмаром, почему мозг отказывается будить память?

¹ Александр Колдер — американский художник и скульптор, автор абстрактных динамических конструкций, которые в 1950-е годы пользовались большой популярностью в качестве элементов декора интерьеров. *(Здесь и далее, кроме случаев, оговоренных особо, — прим. перев.)*

Стоп-кадр

Я был послушным ребенком. Покорно следовал за матерью в ее бесконечных переездах, попутно ссорясь со старшим братом. Я один из множества детей, которые не создают взрослым никаких проблем. Иногда меня охватывает страх: а вдруг я ничего не помню только потому, что мне и помнить-то нечего? Мое детство, видимо, представляло собой длинную череду пустых, скучных, тоскливых и однообразных, как волны на пляже, дней. А если на самом деле я все помню? Просто начало моего существования не отмечено ни одним ярким событием? Детство избалованного, опекаемого, живущего в холе и неге ребенка, нормальное детство без потрясений — на что ж тут жаловаться? Никаких несчастий, драм, горя и потрясений — для становления мужчины самое оно. Неужели моей книге суждено стать исследованием бесцветной пустоты, чем-то вроде спелеологической экспедиции в глубины буржуазной нормы, репортажем на тему обыденного существования среднестатистического француза? Благополучное детство всегда и у всех одинаково, пожалуй, оно и не

стоит того, чтобы о нем вспоминать. И подберутся ли слова для описания каждого рубежа, который вынужден был преодолевать маленький мальчик в Париже шестидесятых–семидесятых? Уж лучше рассказать про то, как мои родители получили налоговую льготу на второго ребенка.

Нырять в этот омут, я надеюсь на одно: в процессе писания оживится память. Литература часто помнит то, о чем сами мы забыли; писать — значит читать в себе. Облечение ощущений в слова вдыхает жизнь в воспоминания, так что это занятие можно сравнить с эксгумацией трупа. Каждый писатель — своего рода *ghostbuster*, то есть охотник за привидениями. В произведениях знаменитых романистов порой возникали невольные реминисценции, и это очень любопытное явление. Писательство обладает сверхъестественной властью. Начиная новую книгу, ты как будто обращаешься за помощью к магу или колдуну. Жанр автобиографии располагается на перекрестке дорог, между Зигмундом Фрейдом и мадам Солей². В статье, опубликованной в 1969 году и озаглавленной “Зачем нужны писатели?”, Ролан Барт утверждает, что “сочинительство <...> выполняет работу, источник которой нам неведом”. Может быть, эта работа в том и заключается, чтобы вернуть забытое прошлое? Как у Пруста с его мадленой, сонатой, щелью между досками во дворе особняка

Германтов, возносящими его “к молчаливым вершинам памяти”? Э-э, только не надо, пожалуйста, давить на меня слишком сильно. Лучше я выберу более свежий, хотя и не менее наглядный, пример. В 1975 году Жорж Перек начал свой роман “W, или Воспоминание детства” словами: “У меня нет детских воспоминаний”. Но вся книга буквально кишит ими. Стоит закрыть глаза, пытаюсь вызвать картины прошлого, и начинается мистика; память — как чашечка саке, которое подают в некоторых китайских ресторанах: пока пьешь, на дне постепенно проявляется фигура обнаженной женщины, исчезающая с последним глотком. Я ее вижу, созерцаю, но при малейшей попытке приблизиться она ускользает, улетучивается; так и мое утраченное детство. Молюсь о чуде: пусть мое прошлое постепенно выступит на страницах этой книги, как очертания картинки на полароидной пленке. Позволив себе дерзость самоцитирования, — а отказываться от созерцания собственного пупа в автобиографическом опусе значило бы усугублять тщеславие глупостью, — отмечу, что я уже сталкивался с этим любопытным феноменом. Когда в 2002 году я писал “Windows on the World”, вдруг откуда ни возьмись передо мной всплыла такая сцена: холодное зимнее утро 1978 года; я выхожу из материнской квартиры и топаю в лицей, стараясь не наступать на цементные полоски между плитками мостовой. Из рта у меня вырывается пар, мне тоскливо, хоть сдохни, и больше всего на свете хочется броситься под автобус 84-го маршрута. Глава

заканчивается так: “В то утро я так никуда и не пошел”. Минул год, и вот на последней странице “Романтического эгоиста” возник запах кожи, от которого меня мальчишкой мучило в английских машинах отца. Спустя еще четыре года, работая над романом “Идеаль”, я с наслаждением вспоминал один субботний вечер в отцовской двухэтажной квартире, когда мои домашние тапочки и стыдливый румянец покорили сердца нескольких манекенщиц нордической внешности, слушавших двойной оранжевый альбом Стиви Уандера. В ту пору я наделил этими воспоминаниями литературных персонажей (Оскара и Октава), но никто не поверил, что они вымышленные. А это была моя робкая попытка рассказать о своем детстве.

После того как родители развелись, моя жизнь раскололась надвое. С одной стороны — материнская суровость, с другой — отцовский гедонизм. Иногда расклад менялся: стоило матери чуть-чуть ослабить вожжи, как отец впадал в угрюмое молчание. Настроение родителей подчинялось принципу сообщающихся сосудов. Или зыбучих песков. Думаю, ребенком мне приходилось строить свою жизнь на пловуне. Чтобы один из родителей ощущал себя счастливым, желательно было, чтобы второго одолевали противоположные чувства. Они вовсе не вели сознательную войну, ничего подобного, не

выказывали друг другу ни малейшей враждебности, однако коромысло весов неумолимо раскачивалось, и наблюдать за теми, кто его раскачивал, было тем горше, что с лиц у них не сходила улыбка.

² Мадам Солей — известная французская прорицательница, ведущая передач на радио и астрологических рубрик в журналах. Консультировала президента Франсуа Миттерана.

Гласные, согласные

Вечер 28 января 2008 года начался отлично: сначала ужин с превосходным вином, потом привычное турне по полутемным барам, одна за другой рюмки разноцветной водки — с лакрицей, с кокосом, с клубникой, с мятой, с кюрасао. Эти рюмки, опрокинутые одним махом, черные, белые, красные, зеленые и синие, светились теми же цветами, что гласные у Рембо. Я катил на скутере и мурлыкал себе под нос “Where is my mind”³ группы “Pixies”. Косил под старшеклассника — замшевые сапоги, пошитые умельцами из Камарга, и взлохмаченные волосы до плеч. Я скрывал свой возраст под бородой и черным плащом. Вот уже больше двадцати лет я устраиваю такие вот ночные вылазки, это мой любимый вид спорта — спорта стариков, не желающих стареть. Нелегко быть ребенком, заключенным в теле взрослого мужика, страдающего амнезией. В “Содоме и Гоморре” маркиз де Вогубер рассказывает, как он мечтал выглядеть “юным, мужественным и соблазнительным, тогда как на самом деле даже не смотрелся в зеркало из боязни увидеть свое покрытое

морщинами лицо, которое ему так хотелось сохранить обворожительным”. Ясно, что проблема не нова; Пруст использовал название замка моего прадеда Тибо. Легкий хмель начал потихоньку обкладывать реальность слоем ваты, стирая границы дозволенного и толкая на ребяческие выходки. Вот уже месяц действовал новый республиканский закон, запретивший курение на дискотеках, и на тротуаре авеню Марсо собралась небольшая толпа. Я не курил, но из чувства солидарности присоединился к красивым девушкам в лаковых босоножках, склоняющим головку к протянутой зажигалке. На краткий миг их лица озарялись, как на полотнах Жоржа де Латура. В одной руке я держал бокал, другой опирался о плечи собратьев. Целовал руку официантке, крутившейся здесь в ожидании роли в полнометражном фильме, дергал за волосы главного редактора журнала, не имеющего читателей. Собратья-полуночники сошлись в этот понедельник вечер, чтобы бросить вызов холоду, одиночеству, кризису, уже замаячившему на горизонте, да мало ли чему еще — повод вмазать всегда найдется. Здесь болтались актер авторского кино, парочка безработных девиц, черные и белые вышибалы, побитый молью певец и писатель, чей дебютный роман я опубликовал. Когда последний извлек белый пакетик и вознамерился высыпать порошок на блестящий капот стоявшего в боковом проезде черного “крайслера”, возражений не последовало. Дразнить блюстителей порядка было

нашим любимым развлечением; мы переносились во времена сухого закона, воображали себя непокорными Бодлером и Теофилом Готье, Эллисом и Макинерни, а то и Блонденом, которого Нимье вытаскивал из полицейского участка, передевшись шофером. Я старательно давил белые крупинки золотой пластиковой картой, а мой коллега-писатель горько жаловался на любовницу, оказавшуюся ревнивее жены, что, на его взгляд (я, разумеется, согласно кивал головой), отдавало дурным вкусом. Вдруг меня на мгновение ослепил свет мигалки. Возле нас затормозила двухцветная машина. На белой дверце синели какие-то странные буквы, обведенные красным. Буква П. Согласная. Буква О. Гласная. Буква Л. Согласная. Буква И. Гласная. В голове мелькнула мысль о телевизионной игре “Буквы и цифры”. Буква Ц. Черт побери! Опять И и еще Я. Эти жирные буквы наверняка несли в себе какой-то тайный смысл. Кто-то пытался нас предупредить, но вот о чем? Выла сирена, мигалка разбрасывала вокруг сполохи синего света. Прямо как на танцполе. Мы, как кролики, бросились в рассыпную. Кролики в приталенных куртках. Кролики в ботинках с плоскими подметками. Кролики, не подозревавшие, что с 28 января 2008 года в Восьмом округе открыт сезон охоты. Один кролик даже забыл на автомобильном капоте свою кредитку с выбитыми на ней именем и фамилией, а второй не догадался выбросить из карманов противозаконные пакетики. В этот ничем не примечательный день завершилась моя бесконечная юность.

3 “Где мои мозги?” (англ.)

Арестантские лохмотья

Это тебя я искал все это время,
в шумных подвалах, на площадках, где никогда не танцевал, в море лиц,
под мостами из света и простынями из кожи, в красном лаке на женских ногах над краем пышущей жаром постели, в глубине безнадежно пустых глаз,
на задних дворах кособоких домишек, за спинами одиноких танцовщиц и пьяных барменов, среди зеленых мусорных баков и серебристых кабриолетов, я искал тебя среди разбитых звезд и фиалковых духов, в ледяных руках и липких поцелуях под ветхими лестницами, на потолке залитых светом лифтов,
в тусклых радостях, в удаче, пойманной за хвост, и неискренне крепких рукопожатиях, мне пришлось все бросить и больше не искать тебя
под черными сводами,
на белых кораблях,
в бархатных вырезах и сумрачных отелях,
в лиловых восходах и желтоватых небесах, в мутных рассветах,
мое потерянное детство.

Полицейские вознамерились установить мою личность; я не возражал, мне и самому это было интересно. “Кто может рассказать мне, кем я стал?”⁴ — вопрошает Король Лир в пьесе Шекспира.

Я всю ночь не сомкнул глаз. Не знаю, настало утро или еще нет: надо мной вместо неба мигающая лампа дневного света. Я заключен в световую коробку. Лишенный пространства и времени, отныне я обитаю в контейнере с вечностью.

Камера предварительного заключения — это такое место во Франции, где на минимум квадратных метров приходится максимум боли.

Мою юность больше не удержать.

Я должен копаться в себе, прорыть туннель, как Майкл Скофилд в сериале “Побег”, и выбраться из

темницы. Заново отстроить свою память, как возводят стену.

Но разве можно спрятаться в воспоминаниях, которых нет?

Мое детство — ни потерянный рай, ни унаследованный ад. Скорее оно представляется мне затянувшимся периодом послушания. Люди склонны идеализировать свои ранние дни, но ведь поначалу ребенок — это просто сверток, который кормят, носят на руках и укладывают спать. В обмен на пищу и кров сверток понемногу привыкает подчиняться внутреннему распорядку.

Те, кто ностальгирует по детству, на самом деле сожалеют о тех временах, когда их кто-то опекал.

В конечном счете полицейский участок — те же ясли: вас раздевают, кормят, за вами следят, не пускают на улицу. Ничего странного, что моя первая ночь в тюрьме отбросила меня так далеко назад.

Никаких взрослых больше нет. Только дети разного возраста. Следовательно, сочиняя книгу о своем детстве, я буду говорить о себе в настоящем времени. Питер Пэн — персонаж, страдающий амнезией.

Есть одно любопытное выражение: спасается бегством. А что, не трогаясь с места спастись нельзя?

У меня во рту солоноватый привкус; тот самый, что я чувствовал тогда, в Сенице.

⁴ У. Шекспир. Король Лир. Пер. М. Кузмина.

Гетари, 1972

Из всего моего детства сохранилась только одна картинка — пляж Сеница, в Гетари, там на горизонте угадывается Испания — синий мираж в нимбе света; должно быть, это 1972 год, тогда еще не построили вонючую станцию очистки, а спуск к морю не перегородили рестораном и автостоянкой. На пляже я вижу худенького мальчугана и стройного старика. Дед выглядит гораздо более бодрым, загорелым и спортивным, чем хилый, бледный до синевы внук. Седовласый мужчина бросает в море плоские камешки, которые прыгают по воде. На мальчике оранжевые махровые плавки с вышитым на них тритоном. Из носа у ребенка течет кровь, и правая ноздря заткнута ватным тампоном. Внешне граф Пьер де Шатенье де ла Рошпозе похож на актера Жан-Пьера Омона.

— А ты знаешь, Фредерик, — восклицает он, — что я видел здесь китов, голубых дельфинов и даже косатку?

— Кто такая косатка?

— Она вроде черного кита, очень хищная, а зубы у

нее острые как бритвы.

— Но...

— Не бойся, это чудище не подплывает близко к берегу. Слишком уж оно большое. Здесь, на скалах, тебе ничего не грозит.

В тот день я решил, что на всякий случай в воду больше не сунусь. Дед учил меня ловить сачком креветок, а почему с нами не было старшего брата, я не знаю. Какой-то великий врач сказал матери, что у меня, возможно, лейкемия. Я, семилетний, находился на отдыхе — “восстанавливался”. Мне предписали набираться сил на морском побережье и сквозь сгустки запекшейся крови дышать йодистым воздухом. В сырой спальне принадлежавшей деду “Патракенеи” (на баскском — “дом Патрика”) мне клали в постель зеленую резиновую грелку, которая чмокала, когда я поворачивался, и постоянно напоминала о своем присутствии, обжигая мне пятки.

Мозг искажает картины детства, рисуя его более радостным или мрачным и уж во всяком случае куда более интересным, чем было на самом деле. Гетари образца 1972 года — тот же след ДНК; по примеру облаченной в белый халат криминалистки из научно-технического отдела полицейского комиссариата Восьмого округа, которая поскребла мне изнутри щеку деревянной лопаточкой и взяла на анализ немного слизи из ротовой полости, мне предстояло

реконструировать всю картину по одному волоску, найденному на пляже. К несчастью, я не криминалист. Лежа в грязной камере и закрывая глаза, я только ощущаю, как галька впивается в мои голые ступни, слышу рокот Атлантического океана, предупреждающего, что близится прилив, чувствую липнувший к щиколоткам песок и вновь испытываю гордость оттого, что дед доверил мне нести ведро с морской водой, в котором барахтаются креветки. На пляже несколько пожилых дам натягивают купальные шапочки в цветочках. В часы отлива во впадинах между скалами остается вода, и там, словно в ловушке, застревают раки и креветки. “Смотри, Фредерик, надо пошарить в расщелинах. Давай, твоя очередь”. Мой седовласый дед в розовых сандалиях от Гарсии протянул мне сачок, а заодно научил новому слову — “расщелина”; обшаривая под водой острые края камней, он вытаскивал этих маленьких бедолаг, пятившихся напрямиком к нему в сачок. Я тоже попытал счастья, но выудил лишь пару упиравшихся раков-отшельников. Меня это не огорчало: я был один с Дедушкой и ощущал себя таким же героем, как и он. На обратном пути из Сеница он собирал ежевику, растущую на обочинах. Для городского ребенка, шагавшего за руку с дедом, это было настоящее чудо — природа представлялась мне гигантским магазином самообслуживания, океан и земля изобиловали дарами — нагибайся и бери. До сих пор еда появлялась всего из двух мест — Холодильника или Магазиновой тележки. Мне казалось, что я попал в плодоносные

сады Эдема.

— Как-нибудь соберемся, сходим в лес Вогубер, за белыми. Их надо искать под опавшими листьями.

Так и не сходили.

Небо сияло необычайной голубизной. В кои-то веки в Гетари стояла хорошая погода, дома светлели прямо на глазах, как от белого вихря в рекламе чистящего средства “Аякс с нашатырным спиртом”. Впрочем, не исключено, что небо было затянуто тучами, а я просто пытаюсь приукрасить действительность, потому что мне хочется, чтобы мое единственное детское воспоминание озарялось солнцем.

Натуральный ад

Полиция набросилась на нас на авеню Марсо, когда мы, компашка примерно из десятка гуляк, затянулись сигаретами, сгрудившись вокруг черного лакированного капота, расчерченного параллельными белыми полосками. Мы больше походили на “Обманщиков” Марсея Карне, чем на “Деток”-янки Ларри Кларка. Услышав вой сирены, мы прыснули в разные стороны. Стражи порядка выловили всего двух преступников — точь-в-точь как мой дед, который вытаскивал креветок из расщелин, — вот только роль ловушки сыграл вход на станцию метро “Альма-Марсо”, в этот поздний час забранный решеткой. Когда они заламывали руки моему другу — назовем его Поэтом, — до меня донесся его протестующий крик: “Жизнь — кошмар!” Умирать буду — не забуду, с каким обалделым видом тарашился на Поэта Полицейский. Двое патрульных приподняли нас над землей и подтащили к злополучному капоту. Хорошо

помню этот сеанс левитации в полночный час — он произвел на меня впечатление. Диалог между Поэзией и Общественным порядком показался мне довольно-таки напряженным.

Полицейский. Вы что, спятили? Это что за безобразия на машине?

Поэт. Жизнь — КОШМАР!

Я. Мой предок был распят на колючей проволоке в Шампани!

Полицейский. Ладно, волоките их в восьмой ОППУР.

Я. Что это еще за ОППУР?

Второй полицейский. Отдел приема, поиска и уголовных расследований Восьмого округа.

Поэт. “По мере того как человеческое с-с-существо продвигается по дороге жизни, роман, потряс-с-савший его в юности, и волшебная сказка, вос-с-схищавшая его в детстве, с-с-сами с-с-собой увядают и меркнут...”⁵

Я (*фанфаронски и одновременно услужливо*). Это не его. Вы читали “Искусственный рай”, капитан? Вы знаете, что искусственный рай помогает нам убежать из натурального ада?

Полицейский (*в рацию*). Шеф, мы их взяли с поличным!

Второй полицейский. А не фигу было на улице переться! Шли бы в сортир, как все люди. Нарвались, так не скулите.

Я (*стирая порошок с капота своим шарфом*). Мы — не как все люди, майор. Мы ПИС-С-САТЕЛИ, ясно?

Полицейский (*хватая меня за рукав*). Шеф, подозреваемый пытался уничтожить вещественное доказательство!

Я. Э-э, дорогой, зачем же так грубо? А если у меня теперь перелом? Мне больше нравилось, когда вы носили меня на руках!

Поэт (*энергично мотая головой, что, по его мнению, было наилучшим выражением оскорбленного достоинства и гордости непонятого художника*). Свобода недостиж-ж-жима!..

Полицейский. Заткнется он когда-нибудь?

Поэт (*с убеждением в необходимости убеждать, выговаривая каждое слово старательно, по слогам, воздев кверху палец, словно бомж, беседующий сам с собой в метро*). Власти нужны ар-р-ртисты, чтобы было кому говор-р-рить ей пр-р-равду!

Полицейский. Да что я тут с вами, в игрушки играю?

Поэт. Нет! С вами играть нельзя — вы всегда выигрываете!

Шеф (*по рации*). Ну все, хватит! Доболтались до капэзэ. Забирайте их!

Я. Да как же это? Слушайте, у меня брат — кавалер ордена Почетного легиона!

Еще один сеанс левитации, и мы очутились в завывающей двухцветной машине.

Не знаю почему, но мне сразу вспомнился фильм “Жандарм из Сен-Тропе” (1964), в котором Луи де Фюнес и Мишель Галабрю гоняются по пляжу за стайкой nudистов, чтобы выкрасить их синей краской. Мы каждое лето смотрели его всей семьей в Гетари, в гостиной, где пахло дымком из камина, мастикой для паркета и “Джонни Уокером” со льдом. Еще одну параллель можно было бы провести с “Никелированными пятками на шухере” Пелло⁶, но я так и не мог решить, кто будет Гулякой, а кто Ищейкой.

Мне уже приходилось сидеть в “обезьяннике” — в марте 2004-го, во время Парижского книжного салона. Я попытался пробиться к президенту Шираку и преподнести ему майку с изображением Гао Синцзяня. Почетным гостем Салона был Китай, но власти странным образом “забыли” пригласить на него китайского диссидента, бежавшего во Францию и принявшего французское гражданство, лауреата Нобелевской премии по литературе 2000 года. Тогда меня тоже подняли над землей чьи-то мощные руки; как и в этот раз, ощущение меня приятно поразило. Должен уточнить, что мне повезло: одному из моих носильщиков передали по радиации приказ:

— Не бить. Его знают.

В тот день я благословил свою популярность. Меня выпустили через час, а на завтра история о моем задержании появилась на первой странице “Монда”. Час заключения в зарешеченном грузовике за репутацию бесстрашного защитника прав человека — классное соотношение: “физическое неудобство — информационная поддержка”. На сей раз мне предстояло просидеть взаперти подольше, и пострадал я за акцию далеко не столь гуманистическую.

⁵ Шарль Бодлер. Искусственный рай.

⁶ Рене Пелло (1900–1998) — известный французский художник-иллюстратор, автор знаменитого комикса о веселой шайке грабителей “Никелированные пятки”, выходившего с 1908 г. Пелло нарисовал 97 выпусков комикса (1948–1981).

Первые грабли

Почему Гетари? Почему мое единственное детское воспоминание постоянно уводит меня в этот красно-белый мираж Страны Басков, где ветер надувает развешанные на веревках простыни, словно паруса неподвижно застывшего корабля? *Я часто говорю себе: надо было мне жить там. Я был бы другим; вырасти я там, все сложилось бы иначе.* Стоит мне закрыть глаза, как под моими веками играет волнами море в Гетари, я как будто вдруг распахиваю голубые ставни старого дома. Смотрю в окно и окунаюсь в прошлое. Сработало. Я все вижу.

Сиамская кошка, проскользнув в дверь гаража, удирает прочь. Мы спускаемся на пляж, где собираемся полакомиться коврижкой с маслом, которую несем с собой в фольге. Мы — это я, мой брат Шарль и моя тетя Дельфина, наша ровесница (самая младшая из сестер матери). Под мышкой у нас свернутые полотенца. Мы все ближе к железной

дороге, и сердце у меня начинает колотиться: я боюсь поездов. В 1947 году, когда моему отцу было столько же лет, сколько сейчас мне, с ним произошел несчастный случай. Он нес каяк, который зацепило поездом из Сан-Себастьяна. Отца протащило по рельсам, он был весь в крови, сильно поранил ногу и бедро, разбил голову. С тех пор на месте происшествия висит табличка: “Осторожно! Берегись встречного поезда!” Впрочем, сердце у меня колотится не только поэтому. Я надеюсь встретить девушек, дежурящих на переезде. У Изабель и Мишель Мирай золотистая кожа, зеленые глаза и белоснежные зубы, обе носят джинсовые комбинезоны с обрезанными выше колен штанинами. Деду не нравилось, что я с ними знаюсь, но это было сильнее меня. Если самые красивые в мире девчонки принадлежат к неблагополучному социальному слою, значит, сам Господь Бог решил восстановить на земле хотя бы подобие справедливости. В любом случае, они смотрели только на Шарля, который их в упор не замечал. “Блондин из Парижа!” — восклицали они, когда мы шагали мимо, а Дельфина с гордостью вопрошала: “Вы помните моего племянника?” Всегда впереди всех, он шел вразвалочку в сторону пляжа вдоль утопающих в гортензиях террас, сказочный принц с глазами цвета индиго, само совершенство в рубашке поло и белых бермудах от Лакоста, с пенополистироловой доской для серфинга под мышкой... Потом взгляды девушек обращались на меня, трусившего сзади, и улыбка сползала с их лиц.

Взъерошенный, неуклюжий скелетик с тоненькими ручками-ножками, тщедушное пугало с выбитыми в драке (а точнее, в перестрелке каштанами в Багатели) передними зубами, с коленками в лиловых следах от недавних болячек, с облупившимся носом и последним номером “Пифа” в руке. Нельзя сказать, что при виде меня они преисполнялись отвращения, просто начинали смотреть в другую сторону, пока Дельфина бормотала: “А это... Ну... Это Фредерик, младший брат”. Я краснел до кончиков оттопыренных ушей, выглядывавших из-под моей белокурой гривы, и не мог выдавить из себя ни слова, парализованный робостью.

Все свое детство я, чуть что, впадал в краску и постоянно с этим боролся. Кто-нибудь о чем-нибудь меня спрашивал, и на щеках у меня тут же вспыхивали пунцовые пятна. На меня обратила взор девочка? Мои скулы приобретали гранатовый оттенок. Учитель в классе задавал мне вопрос? Лицо у меня покрывалось пурпуром. Постепенно я разработал целую систему приемов, помогающих скрывать тот факт, что я легко краснею: нагибался завязать шнурок на ботинке, резко отворачивался, словно привлеченный чем-то захватывающим, убегал, прятал лицо за волосами, подтягивал повыше воротник свитера.

Сестры Мирай сидели на низеньком белом парапете у железной дороги и болтали ногами, с удовольствием подставляя их солнцу, проглянувшему между двумя летними дождями, а я тем временем завязывал шнурки, вдыхая запах влажной земли. Девушки совсем не обращали на меня внимания: я мучился от своей красноты, но на самом деле был прозрачным как стекло. До сих пор не могу без злости вспоминать про то, как превращался в невидимку и умирал от тоски, одиночества и непонимания! Я грыз ногти и дико комплексовал: торчащий вперед подбородок, уши как у слона, уродливая худоба — мало, что ли, надо мной в школе издевались? Жизнь — это долина слез, но факт остается фактом: никогда в жизни меня так не переполняла любовь, и я готов был ею делиться, но девицы с переезда чихать на нее хотели; ну что, если мой брат уродился красивым, а я нет — не его ж в этом винить. Изабель показывала ему синяк на ляжке: “Смотри, это я вчера с велика упала, видишь? Попробуй, надави пальцем, ой, да не так сильно, больно же...”, а Мишель, завлекая Шарля, откидывала назад длинные черные волосы и опускала веки точь-в-точь как кукла, которая открывает глаза, стоит только ее усадить. Красавицы вы мои, да если б вы только знали, до какой степени ему было на вас наплевать! Шарль думал о партии в “Монополию”, отложенной до вечера, об ипотеке на дома по улице Мира и авеню Фош, в девять лет он уже вел точно такую же жизнь,

как сегодня, и мир лежал у его ног, и вся вселенная подчинялась его воле, и в этой безупречной жизни места для вас не было. Прекрасно понимаю ваше восхищение (мы всегда стремимся к недостижимому), ведь я и сам восторгался им не меньше вашего, боготворил старшего брата, рожденного побеждать, гордился им и не задумываясь последовал бы за ним на край света. “О брат, который мне дороже света дня!” ⁷ Вот почему я на вас не сержусь, напротив, говорю вам спасибо: если бы вы вдруг меня полюбили, стал бы я писателем?

Это воспоминание вернулось внезапно. Достаточно угодить в тюрьму, и детство всплывает из глубин. Может, то, что я считал амнезией, на самом деле было свободой?

⁷ Пьер Корнель. Родогуна.

Французский роман

Мои деды и бабки, все четверо, умерли раньше, чем я успел проявить к их жизни настоящий интерес. Дети воспринимают вечность как нечто само собой разумеющееся, однако родители их родителей уходят, не дав им времени задать нужные вопросы. Потом наступает момент, когда дети, сами став родителями, испытывают желание узнать, от кого они произошли, но могилы не отвечают. Никогда.

В годы между двумя мировыми войнами любовь снова вступила в свои права; пары соединялись; я — опосредованный продукт одного из таких союзов.

В 1929 году сын врача из города По, отрезавшего в Вердене немало конечностей, отправился на сольный концерт в Американскую консерваторию в Фонтенбло, где проходил военную службу. Певица по имени Нелли Харбен Найт, вдова (родом из Долтона, штат Джорджия), исполняла песни Шуберта, арии из “Женитьбы Фигаро” и знаменитую “O mio babbino caro”⁸ Пуччини; она была в длинном белом платье с кружевами, во всяком случае, мне хотелось бы так думать. Я нашел фотографию в номере “Нью-Йорк таймс” от 23 октября 1898 года, где Нелли снята именно в таком наряде; в заметке сообщалось, что “her voice is clear, sympathetic soprano of extended range and agreeable quality”. Итак, моя прабабка, обладательница “чистого проникновенного сопрано широкого диапазона и приятной окраски”, путешествовала в сопровождении дочери Грейс, достойной носительницы своего имени: эта высокая голубоглазая блондинка склонялась над клавиатурой рояля с грацией героини Генри Джеймса. Она была дочерью полковника армии Британской Индии, умершего в 1921 году от “испанки”: Морден Картью-Йорстон женился на Нелли в Бомбее, имея за плечами зулусскую войну в Южной Африке, службу под началом лорда Китченера в Судане и бурскую войну, в ходе которой он командовал новозеландским полком Пуна-Хорс, в чьих рядах сражался Уинстон Черчилль. Пехотинец из По сумел поймать взгляд девушки-

сироты столь занятого происхождения, а потом и поддержать ее за руку, протанцевав с ней несколько вальсов, фокстротов и зажигательных чарльстонов. Выяснилось, что у них схожее чувство юмора и оба любят искусство: мать молодого беарнца Жанна Дево занималась живописью (в частности, написала в Гетари портрет Мари, супруги поэта Поль-Жана Туле) — делом столь же экзотическим, что и пение. Молодой человек внезапно превратился в завязанного меломана и не пропускал ни одного музыкального вечера в Американской консерватории. Шарль Бегбедер и Грейс Картью-Йорстон стали встречаться всякий раз, когда его отпускали в увольнение; он приврал ей насчет своего возраста — в двадцать шесть с гаком (родился он в 1902-м) ему давно бы следовало быть женатым. Но он слишком любил поэзию, музыку и шампанское. Дело довершил престиж военной формы — не зря же Грейс была полковничьей дочерью. В Нью-Йорк она не вернулась. 28 апреля 1931 года они поженились в мэрии Шестнадцатого округа. У них родились два мальчика и две девочки; младший сын, появившийся на свет в 1938 году, стал моим отцом. Молодой Шарль после кончины своего отца унаследовал курортное заведение в По под названием “Пиренейский санаторий” — 80 гектаров хвойного леса, полей и парков, расположенных в самой высокой части Жюрансона, на 335-метровой отметке над уровнем моря. Как в “Волшебной горе” у Томаса Манна, обеспеченные пациенты санатория в смокингах созерцали по вечерам потрясающие закаты

над Центральной Пиренейской грядой и наслаждались панорамой города По и долины реки Гав. Сосновый бор и величественные дубравы так и манили к себе, и под их сенью детишки резвились на воле до тех пор, пока их не отправляли в пансион, — в ту пору родители не занимались воспитанием детей, впрочем, если задуматься, ныне дело обстоит точно так же. Шарль Бегбедер без всяких сожалений бросил место стряпчего в нотариальной конторе и увез мою бабушку дышать живительным воздухом Беарна, где она могла в свое удовольствие помыкать слугами и заводить знакомства в местном британском сообществе. На деньги жены и ее матери дед расширил унаследованное от отца предприятие. Вскоре наша семья владела уже десятком санаториев, объединенных общим названием “Беарнские оздоровительные курорты”, а дед с бабкой купили в По великолепный дом, построенный в английском сельском стиле, — виллу “Наварра”. Здесь гостили Поль-Жан Туле, Френсис Джеймс и Поль Валери (семейная легенда гласит, что автор “Господина Теста” садился писать письма ни свет ни заря, и тогдашний дворецкий по имени Октав страшно злился, потому что ему приходилось подниматься в четыре утра и подавать гостю кофе). Истовый католик и воинствующий роялист, Шарль Бегбедер внешне напоминал Поля Морана и усердно читал “Аксьон франсез”, что не помешало ему добиться избрания на пост президента Английского кружка (самого изысканного в По чисто мужского клуба, где

устраивались литературные диспуты). В пятидесятые годы супруги получили в наследство еще одну виллу, на баскской стороне, — “Сениц Альдеа” (по-баскски: “со стороны Сеница”), в деревушке под названием Гетари, местечке, вошедшем в моду еще в годы Прекрасной эпохи. Моя семья недурно заработала на туберкулезе, и должен со всей категоричностью заявить, что открытие Зельмана Ваксмана, получившего году этак в 1946-м стрептомицин, обернулось для нашего фамильного бизнеса настоящей катастрофой.

В тот же самый период между двумя мировыми войнами (как будто молодежь того времени могла знать, что эти послевоенные годы — также и предвоенные) жизнь в замках зеленого Перигора подчинялась строгим правилам. Потеряв мужа, погибшего в Шампани, овдовевшая графиня поселилась в Кенсаке, в замке Вогубер, с двумя дочерьми и двумя сыновьями. В ту пору католички, чьи мужья погибли на войне, хранили целомудренную верность покойному супругу. Разумеется, предполагалось, что и дети должны принести себя в жертву. Дочери скакали вокруг матери, которая их всячески к этому поощряла, и продолжали скакать до конца своих дней. Что касается мальчиков, то их автоматически зачислили в Сен-Сир, где на частицу “де” перед фамилией смотрели весьма благосклонно.

Старший позволил женить себя на аристократке, к которой сам никаких чувств не питал. К несчастью, она почти сразу начала ему изменять с тренером по плаванию, чем разбила сердце молодому человеку, ожидавшему лучшей награды за свое послушание. Он потребовал развода; в наказание мать лишила его наследства. Младшего брата тоже подстерегали несчастья: направленный в Лиможский гарнизон, он влюбился в прекрасную простолюдинку — синеглазую брюнетку, танцевавшую на рояле (уже неловкость), и сделал ей ребенка до женитьбы (второй конфуз). Требовалось срочно узаконить отношения. Свадьба графа Пьера де Шатенье де ла Рошпозе и обворожительной Николь Марклан по прозвищу Ники состоялась 31 августа 1939 года в Лиможе. Дата была выбрана крайне неудачно: на следующий день нацистская Германия вошла в Польшу. Дедушка едва успел проделать то же с Бабушкой. Впереди у него была “странная война”, показавшая, что у линии Мажино и у метода “безопасных” дней Огино — один уровень надежности, то есть нулевой. Пьер попал в плен. Благодаря одной монахине, снабдившей его гражданским платьем и фальшивыми документами, он бежал и вернулся во Францию, чтобы зачать мою мать. Здесь он узнал, что тоже лишен наследства: во время воскресной мессы, которую местный кюре служил в замковой часовне, мать-графиня внезапно поняла, что не может смириться с мезальянсом. Любопытные у них все же обычаи, у этих аристократов-христиан: обязательно им надо лишить

наследства и без того уже сирое потомство. Ветвь Шатенье де ла Рошпозе восходит к временам Крестовых походов (лично я веду происхождение от Гуго Капета, хотя подозреваю, что нас таких тьматьмущая), среди представителей этого рода — епископ Пуатье и посланник Генриха II в Риме. Одному из моих предков, нантейскому аббату Антуану, Ронсар посвятил оду. Стихи были написаны в 1550 году, но и сегодня, в мрачную ночь января 2008 года, они сохраняют актуальность:

Уходит время, вот и жизнь промчится — В природе так заведено.

Года летят незримой вереницей: Ведь жизнь и время заодно. <...>
Ах, детство резвое — подобие весны, Ах, лета пышный цвет...

Добычею зимы вы стать обречены.

Вы были или нет?⁹

Невзирая на предостережение “князя поэтов”, обращенное к нашему дальнему предку, мой дед пал жертвой на алтаре Страсти, поддавшись тому же романтическому порыву, что тремя годами раньше увлек герцога Виндзорского¹⁰, а шестьдесят восемь лет спустя — Сесилию Сиганер-Альбениц:¹¹ лучше обойтись без замка, чем без любви. Когда война закончилась, Пьер де Шатенье со всем семейством на несколько лет оккупировал Германию, поселившись в

Пфальце; в 1949 году он вышел в отставку, так как опасался отправки в Индокитай. Тут ему пришлось испробовать нечто такое, к чему никто из его родни не имел никакого касательства на протяжении лет примерно тысячи, — работу за жалование. Он перебрался в парижскую квартиру на улице Сфакс, на книжных полках которой теснились издания “Боттен-Монден”¹² и эротические сочинения Пьера Луи, и поступил под начало своего зятя, возглавлявшего фармацевтическую лабораторию. Для него настали не самые счастливые годы. Когда на блистательную жизнь в Париже больше не хватает средств, остается одно: везти жену на побережье, чтобы играла в бридж и рожала детей. Между тем у отца Ники был в Гетари дом, с которым ее связывали добрые воспоминания. Граф и графиня купили маленький домик у мадам Дамур на условиях пожизненной ренты, а она оказалась так любезна, что вскоре скончалась. Таким образом, благородный воин и шестеро его детей обосновались в “Патракенее”, как раз напротив “Сениц-Альдеи”, где проводили лето американо-бегарнские богемно-буржуазные Бегбедеры. Читатель, очевидно, уже оценил стратегическую значимость этого пункта. В Гетари оба семейства подружились, а через некоторое время мой отец познакомился с моей матерью.

- ⁸ “О мой дорогой отец” (*ит.*) — ария Лоретты из оперы Джакомо Пуччини “Джанни Скикки”.
- ⁹ Перевод М. Макаровой.
- ¹⁰ Эдуард VIII, король Великобритании; отрекся от престола, чтобы жениться на разведенной Уоллис Симпсон, и получил титул герцога Виндзорского.
- ¹¹ Бывшая жена нынешнего президента Франции Николя Саркози; развелась с мужем, чтобы вступить в брак с владельцем нью-йоркского рекламного агентства Ришаром Атиасом.
- ¹² “Боттен-Монден” — ежегодный справочник, представляющий цвет французского общества (выходит с 1903 г.).

С семьей

Я всегда мечтал быть свободным электроном, но вечно отсекал свои корни невозможно. Вспомнить мальчика на пляже в Гетари значит признать, что есть место, откуда ты пришел, будь то сад или зачарованный парк, луг, пахнувший свежескошенной травой и соленым ветром, или кухня, пропитанная ароматами яблочного компота и вчерашнего хлеба.

Сведение семейных счетов и эксгибиционизм в автобиографиях, психоанализ под видом книг и публичное полоскание грязного белья — это все не по мне. Мориак в начале своих “Внутренних мемуаров” преподает нам урок стыдливости. Он с нежностью обращается к своим родным: “Я не стану говорить о себе, чтобы не вынуждать себя говорить о вас”. Почему у меня не получается сидеть тихо? Можно ли

сохранить хоть каплю достоинства, пытаюсь узнать, кто ты и откуда взялся? Чувствую, придется притянуть сюда многих близких мне людей, живых и ушедших (кое-кого уже притянул). Те, кого я люблю, вовсе не желали, чтобы их затащило сетью в эту книгу. Я подозреваю, что у любого жизнеописания столько же версий, сколько рассказчиков, и у каждого своя правда, так что сразу уточним: я буду излагать свою. В любом случае в 42 года не пристало жаловаться на семью. Просто у меня, похоже, нет выбора: чтобы начать стареть, мне придется вспоминать. Затевая расследование, я буду восстанавливать прошлое по скудным уликам, которыми располагаю. Постараюсь не жульничать, но время смешало воспоминания, как тасуют колоду перед партией в “Клуду”¹³. Моя жизнь — запутанный детектив, а все вещественные доказательства подпорчены памятью, пропитавшей их красками и ароматами.

В принципе у каждой семьи есть своя хроника, но у моей она небогатая; мои родственники не слишком хорошо знакомы друг с другом. Для чего нужна семья? Чтобы расставаться. Семья — это особый институт, где никто ни с кем не общается. Мой отец вот уже двадцать лет не разговаривает со своим братом. Родня со стороны матери не знаетя с родней со стороны отца. Ребенком, на каникулах, ты часто видишься с представителями своего племени. Потом родители расстаются, и с отцом ты встречаешься от

случая к случаю. Бред какой-то: ты разом теряешь половину семьи. Чем старше становишься, тем реже случаются каникулы, постепенно родственники матери от тебя отдаляются, и ты сталкиваешься с ними только на свадьбах, крестинах и похоронах — приглашения по случаю развода рассылать не принято. Но даже если тебя зовут на день рождения племянника или рождественский ужин, ты находишь предлог отказаться: страшновато как-то, все начнут тебя разглядывать, изучать, критиковать, выводить на чистую воду, оценивать по заслугам и разбираться, чего ты стоишь на самом деле. Семья оживляет стертые воспоминания и упрекает тебя в неблагодарном беспамятстве. Семья — это множество неприятных обязанностей, это куча народу, и все тебя знают с малых лет, когда ты еще “не состоялся”, — причем всегда и во всем сведущее старшее поколение убеждено, что ты как был, так и есть пустышка. Я долгое время верил, что смогу обходиться без семьи. И сам не понимал, что я — как та лодка в последней строчке “Гэтсби” у Фицджеральда, которая пытается “плыть вперед, борясь с течением, а оно все сносит и сносит наши суденышки обратно в прошлое” [14](#). В конечном итоге в моей жизни случилось все то, чего я мечтал избежать. Оба моих брака не задались. Я обожаю свою дочь, но вижу с ней только два раза в месяц, по выходным. Сын разведенных родителей, я тоже в разводе; причина — аллергия на “семейную жизнь”. Почему в самом этом выражении мне чудится угроза, не говоря уж о том, что оно представляется

оксюморонам? Воображение немедленно рисует несчастного, издерганного мужика, пытающегося установить детское сиденье в автомобиле с овальным кузовом. Разумеется, он уже несколько месяцев не занимался любовью. Семейная жизнь — это череда тоскливых совместных трапез, повторение одних и тех же взаимных оскорблений и доведенное до автоматизма лицемерие, это убежденность в соединяющей силе чисто случайного обстоятельства, коим является рождение, и ритуалов существования бок о бок. Семья — это группа людей, которые не способны к контакту, отвратительно собачатся, тонут в обоюдном недовольстве, потрясают дипломами детей, нужными им исключительно для украшения дома, и готовы перегрызть друг другу глотку за наследство родственника, чей труп еще не успел остыть. Никогда не понимал людей, считающих, что в семье можно найти убежище, — напротив, она пробуждает самые потаенные страхи. Лично для меня жизнь начиналась только после ухода из семьи. Лишь тогда я решался родиться вновь. Жизнь, на мой взгляд, разделялась на две части: первая состояла из рабства, а вторую приходилось тратить на то, чтобы забыть о первой. Интерес к своему детству представлялся мне делом придурков или трусов. Постепенно проникаясь мыслью, что от прошлого можно избавиться, я в конце концов искренне поверил, будто мне это удалось. И верил до сегодняшнего дня.

¹³ “Cluedo” (англ.) — популярная во всем мире настольная игра, участники которой на основании ряда улик должны определить, кто, где и каким орудием совершил убийство.

¹⁴ Ф.С. Фицджеральд. “Великий Гэтсби”. Пер. Е. Калашниковой.